

В. Г. Белинский

Русская литература в 1841 году



Виссарион Григорьевич Белинский

Русская литература в 1841 году

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2824505*

Аннотация

Во втором по счету годовом обзоре русской литературы критик столь же критически оценивает общий уровень текущей словесности, как и в статье «Русская литература в 1840 году»; через всю работу рефреном проходит пушкинская строка: «Да где ж они? – давайте их!», которая отражает нетерпеливое ожидание подлинно художественных произведений. И так же, как и в предшествующем обзоре, большое место уделено Белинским экскурсу в историю русской словесности, который должен оправдать в глазах читателей его «надежду на будущее».

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.
Комментарии

20

Виссарион Григорьевич Белинский

Русская литература в 1841 году

Исторический взгляд вообще на русскую литературу. – Кантемир – Ломоносов – Сумароков – Державин – Фонвизин – Дмитриев – Карамзин – Крылов – Озеров – Жуковский – Батюшков – Гнедич – Пушкин и его школа – Грибоедов. – Русские романы и романисты – Гоголь. – Современная литература в 1841 году: Периодические издания – Литературные и ученые сочинения. – Общий вывод

Сокровища родного слова,
Заметят важные умы,
Для лепетания чужого
Пренебрегли безумно мы.
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.
Да где ж они? – давайте их!
Конечно: северные звуки
Ласкают мой привычный слух;
Их любит мой славянский дух;
Их музыкой сердечны муки

Усыплены: но дорожит
Одними ль звуками пиит?
И где ж мы первые познания
И мысли первые нашли?
Где поверяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где русский ум и русских дух
Зады твердит и лжет за двух.

.....

.....

Поэты наши переводят
Или молчат; один журнал
Исполнен приторных похвал,
Тот брани плоской; все наводят
Зевоту скуки, чуть не сон:
Хорош российский Геликон!

Пушкин!^[1]

В этих стихах Пушкина заключается самая резкая характеристика русской литературы. Правда, многие не без основания могут принять их скорее за эпиграмму на русскую литературу, нежели за характеристику ее, потому что уже поэзия самого Пушкина не подходит под эту характеристику, а у нас, кроме Пушкина, есть и еще несколько явлений, достойных более или менее почетного упоминания даже при его имени. Но если это» не характеристика, то и не совсем

эпиграмма. Эпиграмма есть плод презрения или предубеждения к предмету, на который она нападает; а Пушкин, которого поэзия – самый звучный и торжественный орган русского духа и русского слова, не мог презирать топ литературы, которой посвятил всю жизнь свою. Впрочем, для оправдания великого поэта в подобном презрении довольно было бы и этих чудных стихов, в которых с такою задушевностью, с таким умилением высказывается самое родственное, самое кровное чувство любви к родному слову:

. . . .Северные звуки
Ласкают мой привычный слух;
Их любит мой славянский дух;
Их музыкой сердечны муки
Усыплены. . . .^[2]

Между тем любовь любовью, а истина прежде всего – даже прежде самой любви. Вам, конечно, не раз случалось слышать от других и самим предлагать вопрос: «Что нового у нас в литературе?» или: «Нет ли чего-нибудь прочесть?» Скажите: как вы отвечали или как вам отвечали на этот вопрос?.. Правда, у нас выходит ежемесячно книг до тридцати: ими испещряются книгопродавческие объявления, суждениями о них наполняются библиографические отделы журналов; их хвалят и бранят, о них спорят и бранятся; а между тем все-таки —

Да где ж они? – давайте их!

Как хотите, а это – презатруднительный вопрос! Попытаемся, однако ж, ответить на него, только не прямо и не просто, и не от своего лица, а в форме следующего разговора между двумя лицами – А и Б.

А. – *Так где ж они? – давайте их!*

Б. – Извольте. Только их так много, что ни мне перечесать, ни вам унести с собою невозможно. Начнем с начала.

А. – Да, если вы вздумаете прочесть мне весь каталог Смирдина, то, конечно, останетесь победителем в нашем споре.

Б. – Нет: я буду говорить только о капитальных явлениях нашей литературы, которых бессмертие признано знаменитейшими авторитетами в деле эстетического вкуса и подтверждено «общим мнением».

А. – Интересно; начинайте же именно с начала русской литературы.

Б. – Ну, вот вам «Сатиры Кантемира»...

А. – Покорно благодарю; ведь я спрашивал вас о книгах, которые годятся не для одного украшения библиотек, но и для чтения...

Б. – Как! вы не признаете достоинства Кантемировых сатир? Вспомните, какою славою пользовались они в свое время! Вспомните эту поэтическую надпись к портрету знаменитого сатирика:

Старинный слог его достоинств не умалит.
Порок! не подходи: сей взор тебя ужалит!^[3]

Вспомните, что так основательно высказано Жуковским в его превосходной статье «О сатирах Кантемира»...

А. – Как же, как же! читал я и ее: статья точно превосходная; но ваша первая попытка занять меня чтением все-таки не удалась: я уже читал Кантемира, а перечитывать – страшусь и подумать, потому что я читаю не из одного любопытства, но и для удовольствия.

Б. – Вот Ломоносов – поэт, лирик, трагик, оратор, ретор, ученый муж...

А. – И прибавьте – великий характер, явление, делающее честь человеческой природе и русскому имени; только не поэт, не лирик, не трагик и не оратор, потому что реторика – в чем бы она ни была, в стихах или в прозе, в оде или похвальном слове – не поэзия и не ораторство, а просто реторика, вещь, высокочтимая в школах, любезная педантам, но скучная и неприятная для людей с умом, душою и вкусом...

Б. – Помилуйте!

Он наших стран Малерб, он Пиндару подобен!^[4]

А. – Не спорю: может быть, он и Малерб «наших стран», но от этого «нашим странам» отнюдь не легче, и это несколько не мешает «нашим странам» зевать от тяжелых, прозаич-

ческих и риторических стихов Ломоносова. Но между им и Пиндаром так же мало общего, как между олимпийскими играми и нашими иллюминациями, или олимпийскими ристаниями и нашими Лебедянскими скачками; за это я постою и поспорю. Пиндар был поэт: вот уже и несходство с Ломоносовым. Поэзия Пиндара выросла из почвы эллинского духа, из недр эллинской национальности; так называемая поэзия Ломоносова выросла из варварских схоластических реторик духовных училищ XVII века: вот и еще несходство...

Б. – Но Ломоносову удивлялся Державин, его превозносил Мерзляков, и нет ни одного сколько-нибудь известного русского поэта, критика, литератора, который не видел бы в Ломоносове великого лирика. В одной статье «Вестника Европы» сказано: «Ломоносов дивное и великое светило, коего лучезарным сиянием *не налюбоваться в сытость и позднеjšíм потомству*»^[5].

А. – Я в сытость уважаю статью «Вестника Европы», равно как и Державина и Мерзлякова; но сужу о поэтах по своим, а не по чужим мнениям. Впрочем, если вам нужны авторитеты, – ссылаюсь на мнение Пушкина, который говорит, что «в Ломоносове нет ни чувства, ни воображения» и что, «сам будучи первым нашим университетом, он был в нем, как профессор поэзии и элоквенции, только исправным чиновником, а не поэтом, вдохновенным свыше, не оратором, мощно увлекающим»^[6]. И если вы имеете право разделять мнение о Ломоносове Державина, Мерзлякова и «Вестника

Европы», то почему же мне не иметь права разделять мнение Пушкина? Не правда ли?

Б. — Конечно; против этого не нашлись бы ничего сказать все «ученые мужи». Итак, вы не хотите считать сочинений Ломоносова в числе книг для чтения?

А. — Я этого не говорю о всех сочинениях Ломоносова; но, уж, конечно, не буду читать ни его реторики, ни похвальных слов, ни торжественных од, ни трагедий, ни посланий о пользе стекла и других предметах, полезных для фабрик, но не для искусства; да, не буду, тем более что я уже читал их... Но я всегда посоветую всякому молодому человеку прочесть их, чтоб познакомиться с интересным *историческим фактом* литературы и языка русского. Что же касается до собственно ученых сочинений Ломоносова по части физики, химии, навигации, русского стихосложения, — они всегда будут иметь свою *историческую* важность и цену в глазах людей, занимающихся этими предметами, всегда будут капитальным достоянием истории *ученой* русской литературы; но публике литературной они всегда будут чужды, как поэзия и ораторские речи Ломоносова... Ломоносову воздвигнут памятник, — и он вполне достоин этого; он — великий характер, примечательнейший человек; юноши с особенным вниманием и особенною любовью должны изучать его жизнь, носить в душе своей его величавый образ; но, бога ради, увольте их от поэзии и красноречия Ломоносова... Прошлого года, кажется, издан был одним «ученым» обществом *выбор* из поэ-

тических и ораторских сочинений Ломоносова, в двух томах in-quarto¹, для употребления в учебных заведениях, в образец для школьных опытов в стихах и прозе^[7]. Что сказать об этом? Я человек простой, не из «ученых»; – может, оно там так и нужно – это не мое дело, как сказал городничий в «Ревизоре» об учителе уездного училища;^[8] но между публикою и школою такая же разница, как и между книгою и действительностию: что хорошо в одной, то никуда не годится в другой...

Б. – Я понимаю, что вы хотите сказать. Итак, вот вам десять томов «Полного собрания всех сочинений в стихах и прозе *покойного* действительного статского советника, орден св. Анны кавалера и Лейпцигского ученого собрания члена, Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изданы в удовольствие любителей российской учености Николаем Новиковым», и пр. Я надеюсь, что вы к его стихам и прозе будете благосклоннее, чем к стихам и прозе Ломоносова: поэзия Сумарокова менее школьна и более жизненна, чем поэзия Ломоносова. Сумароков писал не одни оды и трагедии, но и сатиры, комедии, даже комические статьи, в которых преследовал невежество, дикость нравов, ябедничество, взяточничество, казнокрадство и прочие смертные грехи полуазиатской общественности.

А. – И я согласен, что он принес своего рода пользу и сделал частицу добра для общества; но не хочу кланяться гряз-

¹ в четвертую долю листа (*лат.*). – *Ред.*

ному помелу, которым вымели улицу. Помело всегда помело, хотя оно и полезная вещь. Сатиры и комедии Сумарокова – помело, в полезности которого я не сомневаюсь, но которому все-таки кланяться не стану. И суздальские литографии «Как мыши кота погребают» и «Как пришел Яков ерша смякал» тоже принесли свою пользу черному народу: без них он не имел бы понятия о вещи, называемой «картинною»; но кто же будет говорить о суздальских лубочных литографиях, как о произведениях искусства? Сумароков напал на невежество – и сам не больше других знал, и бредил только своим «бедным рифмичеством», как выразился о нем Ломоносов^[9]. Сумароков преследовал дикость нравов, жаловался печатно, что в Москве «во время представления «Семиры» грызут орехи и, когда представление *в пущем жаре своем*, секут поссорившихся между собою пьяных кучеров, ко тревоге всего партера, лож и театра»^[10], – тот самый Сумароков избил палкою купца, который, видя его в халате, не сказал ему «ваше превосходительство!»^[11]. Главная причина негодования Сумарокова на общественное невежество состояла в том, что оно мешало обществу понимать его пресловутые трагедии; а подьячих преследовал он сколько потому, что имел до них дела, столько и для острого словца. Истинное негодование на противоречия и пошлость общества есть недуг глубокой и благородной души, которая стоит выше своего общества и носит в себе идеал другой, лучшей общечеловечности. Судя по одному поступку Сумарокова с куп-

цом, нельзя думать, чтоб сей пиита был выше своего общества; а в сочинениях его не заметно ни малейших следов лучшего идеала общественности. Он не страдал болезнями современного ему общества; он только досадовал и злился, что общество, не понимая его гениальных творений, не отдавало ему за них должного почтения и верило больше московскому подьячему, чем господину Волтеру и ему, господину Сумарокову...^[12] Если хотите видеть страдания высокой души человека, не понимаемого современностью, – читайте письма Ломоносова к Шувалову...^[13]

Б. – Но Сумароков был первым драматургом в России, и его трагедиям даже обожатели Ломоносова, как Мерзляков, отдают преимущество?

А. – Я с этим не согласен. Ломоносов и в ошибках своих поучительнее и выше этого бездарного писаки. Оба они риторы в своих стихах; но ведь и реторика реторике рознь, реторика Корнеля, Расина и Вольтера всегда будет выше реторики Озерова, а реторика Ломоносова выше реторики Сумарокова. Ломоносов везде умен, даже и в риторических стихах своих.

Нет, по моему мнению, Сумароков сделал одно истинно важное дело, хотя и без всякого особенного умысла: его пиитическая тень возникла перед критическим оком С. Н. Глинки и вдохновила его «предъявить» преинтересную книгу: «Очерки жизни и сочинения Александра Петровича Сумарокова», пресловутую книгу, которая, говоря языком ее по-

чтенного сочинителя, «огромила российский быт»...^[14] Вот за это спасибо Сумарокову: лучшего он ничего не мог сделать...

Б. – Но что вы скажете о Княжнине? Общее мнение приписывает ему усовершенствование русского театра, рожденного Сумароковым...

А. – Да, общее мнение всех «курсов и историй русской литературы»^[15]. Княжнин не напрасно занимает в них свое место; только ему и не должно выходить из них, благо он пригрел себе тепленькую каморку. История литературы и сама литература – не всегда одно и то же. При возникновении литературы, начавшейся подражанием, является множество маленьких героев, приобретающих себе бессмертие. Грузинцев, автор пьесы «Петр Великий», и г. Свечин, сочинитель «Александровиды», стоят Тредьяковского; но о них уже забыли – они поздно родились, поздно явились; а Тредьяковский никогда не будет забыт, потому что родился вовремя. Я не спорю, что Сумароков – *отец русского театра*^[16], и притом достойный отец достойного сына; но все-таки театр наш не исключительно от него должен вести свою родословную: вспомните, что еще в царствование Алексея Михайловича у нас было нечто похожее на придворный театр, где разыгрывались мистерии, вроде тех, которыми начались все европейские театры. Что ж? Не прикажете ли и их напечатать для пользы и удовольствия почтеннейшей публики? И французы в истории своей литературы упоминают о

«мистериях», равно как и о драмах Гарнье и Гарди, предшественниках Корнеля; но они не разбирают их, не излагают их содержания, не рассуждают о их красотах или недостатках, не рекомендуют их вниманию публики, не включают их в общий капитал своей литературы. Литературные заслуги бывают внешние и внутренние: первые важны для той минуты, в которую появились; вторые остаются навсегда. Иначе ничьей жизни не достало бы перечесть и изучить иную литературу. Так и Княжнин, лепивший свои риторические трагедии и комедии из дурно переведенных им лоскутков ветхой и дырявой мантии классической французской Мельпомены^[17], оказал своего рода пользу и современному театру и современной литературе. За это ему честь и слава; но требовать, чтобы его читали и это чтение называли «занятием литературою», – просто нелепость. Даже и учащемуся юношеству нет никакой нужды давать читать таких писателей, как Сумароков и Княжнин, если это делается не для предостережения от покушения или возможности писать так же дурно, как писали сии пииты. Но это значило бы подражать спартамцам, которые, для внушения своему юношеству отвращения от пьянства, заставляли рабов напиваться...

Б. – Вижу, что о Хераскове и Петрове нечего и говорить с вами...

А. – Тем более что о них и педанты перестали говорить: это тяжба, начисто проигранная. Сюда же должно отнести и Богдановича с его тяжелою и неуклюжею «Душенькою», ко-

торая считалась в свое время образцом легкости и грациозности и возбуждала фурор^[18].

Б. – А Хемницер, Капнист?

А. – Из них можно кое-что помещать в хрестоматиях и других подобных сборниках, составляемых для руководства при изучении истории русской литературы. Первый написал пять-шесть порядочных басен, из которых «Метафизик» пользуется особенным уважением и благоговением людей, видящих в подобных произведениях что-то важное и говорящих «творец «Метафизика»» «точно так же, как другие говорят «творец «Макбета»». Капнист переделал довольно удачно, в духе своего времени, одну или две оды Горация; элегии же его особенно важны для хрестоматий, как живое свидетельство сентиментального духа русской литературы того времени. О «Ябеде» его довольно сказать, что это произведение было благородным порывом негодования против одной из возмутительнейших сторон современной ему действительности и что за это долго пользовалось оно огромною славою, несмотря на все свое поэтическое и даже литературное ничтожество. Замечательно, до чего простиралось незаслуженное удивление к этому посредственному произведению: Писарев, лучший русский водевилист и вообще человек замечательно даровитый в сфере мелкой житейской литературы, сражался за «Ябеду» и в стихах и в прозе и в одном из своих лучших произведений, нападая на одного журналиста, повершил свои тяжкие обвинения следующей наивною

ВЫХОДКОЮ:

Он Грибоедова хвалил —
И разругал Капниста!..^[19]

В самом деле, тяжелое обвинение! О доброе старое время!..

Б. — Но мы, кажется, забежали вперед; воротимтесь. Думаю, вы будете не так исключительны и строги в своем суждении о Державине.

А. — С уважением отступаю при этом знаменитом имени, но не для того, чтоб пасть перед ним во прах и бессознательно воскурить фимиам громких фраз и возгласов, а для того, чтоб лучше и полнее измерить глазами этот величавый образ и строже и тверже произнести свое суждение о нем, — потому именно, что глубоко уважаю его... Державин — первое действительное проявление русского духа в сфере поэзии, которой до него не было на Руси. Державин — это Илья Муромец нашей поэзии. Тот тридцать лет сидел сиднем, не зная, что он богатырь; а этот сорок лет безмолвствовал, не зная, что он поэт; подобно Илье Муромцу, Державин поздно ощутил свою силу, а ощутив, обнаружил ее в исполинских и бесплодных проявлениях... Никого у нас не хвалили так много и так безусловно, как Державина, и никто доселе не понял менее его. Невольно смиряясь перед исполинским именем, все склонялись перед ним, не замечая, что это

только имя – не больше; поэт, а не поэзия... Его все единодушно превозносят, все оскорбляются малейшим сомнением в безукоризненности его поэтической славы, и между тем никто его не читает, и всего менее те, которые печатно кричат о нем... По моему мнению, эти люди, так бессознательно поступающие, действуют очень разумно и нисколько не противоречат самим себе. Я сравнил Державина с древним русским богатырем Ильёю Муромцем и, на основании этого сравнения, назвал поэзию Державина исполинскими, но бесплодными проявлениями поэтической силы: для объяснения своей мысли я должен продолжать это сравнение. Илья Муромец один-одинехонек побивает целую татарскую рать – и чем же? – не копьем, не мечом, не палицею тяжкою, а татаринном, которого он схватил за ноги, да и давай им помахивать на все четыре стороны, сардонически приговаривая:

А и крепок татарин – не ломится,
А жиловат, собака, – не изорвется^[20].

Кто не согласится, что подобный подвиг поражает ум удивлением? Но и кто же не согласится, что возбуждаемое им удивление – чувство чисто внешнее, холодное и что оно – только удивление, а не тот божественный восторг, который возбуждается в духе чрез разумное проникновение в глубокую сущность предмета? Но здесь не во что проникать: здесь только сила, лишенная всякого содержания, сила как сила

– больше ничего. Совсем не так действуют на нас мифические сказания римского народа о Горациях Коклесах, Муциях Сцеволах или рыцарские легенды о военном схимничестве за честь креста, гроба и имени господня, о битвах за красоту, о неизменности обетам, о безумном фанатическом^[21] обожании воображаемых идеалов, как будто действительных существ: они возбуждают в нас не одно удивление, но и любовь, и восторг, и сознание. С любовью преклоняемся мы перед бесконечностью духа человеческого, пред несокрушимую твердость воли, торжествующей над ограниченными условиями немощной плоти; в них мы обожаем божественную способность человека уничтожаться, как в жертвенном огне на алтаре бога, в пафосе к бесплотной и бессмертной идее... И это оттого, что они полны общечеловеческого содержания, что мы ощущаем, чувствуем и провидим в них все, чем человек есть человек – чувственное явление незримого и вечного духа... И вот этого-то содержания в поэзии Державина так же мало, как и в подвиге Ильи Муромца^[22]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Критик цитирует две строфы, исключенные Пушкиным из окончательного текста третьей главы «Евгения Онегина» (впервые опубликованы в IX томе первого посмертного собрания сочинений Пушкина, СПб., 1841, с. 189–190; ср.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VI. Л., 1937, с. 583–584).

2.

Там же, с. 583.

3.

Двустишие Г. Р. Державина (1777).

4.

Строка из «Эпистолы II» («Эпистолы о стихотворстве», 1748) А. П. Сумарокова.

5.

Цитата из статьи Н. И. Надеждина «О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии» («Вестник Европы», 1830, № 2, с. 140), представляющей собой переработанный отрывок из его диссертации «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (1830). Здесь и далее курсив в

цитатах Белинского.

6.

Критик неточно цитирует статью «Путешествие из Москвы в Петербург» (1836; глава «Ломоносов» была единственным отрывком из нее, увидевшим свет к 1842 г.).

7.

Имеется в виду трехтомное «Собрание сочинений М. В. Ломоносова» (СПб., 1840; издание императорской Российской академии). Рецензию на него см.: наст. изд., т. 3, с. 445–447.

8.

См.: «...может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить...» («Ревизор», д. 1, явл. I).

9.

Выражение из письма М. В. Ломоносова И. И. Шувалову от 19 января 1761 г. Критик цитирует его по первой публикации в альманахе «Уrania на 1826 год» (М., 1825, с. 54–55). См.: М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. X. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1957, с. 545–547. (Отрывок из этого письма приводится в рецензии на I часть «Очерков жизни и избранных сочинений А. П. Сумарокова» С. Н. Глинки – наст. т., с. 460).

10.

Полное собрание сочинений Сумарокова, т. IV, стр. 63.

11.

См.: А. П. Сумароков. Полн. собр. соч. в стихах и прозе..., ч. IV. М., 1787, с. 63.

12.

Там же, стр. 64.

13.

См. выше, примеч. 9.

14.

Рецензии на 1 и 2–3 части издания С. Н. Глинки см.: наст. т., с. 457–461; с. 493–498.

15.

Имеются в виду прежде всего работы Н. И. Греча: «Учебная книга российской словесности» (1819–1822), «Опыт краткой истории русской литературы» (1822), «Чтения о русском языке» (ч. I–II, 1840).

16.

Традиционная характеристика Сумарокова в литературе

XVIII – начала XIX в. См.: «Театра русского отец, // Изобличитель злых пороков, // Расин полночный, Сумароков!» (В. И. Майков. Ода о вкусе Александру Петровичу Сумарокову). Ср.: «Меж тем, как то признал французский сам Парнас, // Что Сумарокова дойдет в потомство глас; // Он наш Софокл, отец театра он у нас...» (А. А. Палицын. Послание к Привете, или Воспоминание о некоторых русских писателях моего времени. Харьков, 1807, с. 6).

17.

Мельпомена – муза трагедии в греческой мифологии.

18.

Рецензию на новое издание «Душеньки» см.: наст. т., с. 410–414.

19.

Цитата из сатиры А. И. Писарева «Певец на биваках у подошвы Парнаса» (1825), впервые опубликованной лишь в 1859 г. в «Библиографических записках» (т. II, № 20). Приведенные строки относятся к Н. А. Полевому.

20.

Критик цитирует былинку «Калин-царь».

21.

В журнальном тексте было: фантастическом. Исправлено по КСсБ.

22.

Тезис об отсутствии «общечеловеческого содержания» в подвигах богатырей из русских народных песен развит критиком в «Статьях о русской народной поэзии» (см.: наст. т., с. 193, 227–228) и соответствует его представлению об исторической ограниченности фольклора вообще (см. преамбулу примечаний к указанным «Статьям...»).